

- Вы пишете про себя?
- Что вы, этого человека уже давно нет.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ПЕРВАЯ БОМБЕЖКА

Настоящий страх, страх жутчайший, настиг меня, совсем еще юнца, на войне. То была первая бомбежка. Наш эшелон Народного ополчения отправился в начале июля 1941 года на фронт. Немецкие войска быстро продвигались к Ленинграду. Через два дня эшелон прибыл на станцию Батецкая, это километров полтора от Ленинграда. Ополченцы стали выгружаться, и тут на нас налетела немецкая авиация. Сколько было этих штурмовиков, не знаю. Для меня небо потемнело от самолетов. Чистое, летнее, теплое, оно загудело, задрожало, звук нарастал. Черные летящие тени покрыли нас. Я скатился с насыпи, бросился под ближний куст, лег ничком, голову сунул в заросли. Упала первая бомба, вздрогнула земля, потом бомбы посыпались кучно, взрывы сливались в грохот, все тряслось. Самолеты пикировали, один за другим заходили на цель. А целью был я. Они все старались попасть в меня, они неслись к земле на меня, так что горячий воздух пропеллеров шевелил мои волосы.

Самолеты выли, бомбы, падая, завывали еще истошнее. Их вопль ввинчивался в мозг, проникал в грудь, в живот, разворачивал внутренности. Злобный крик летящих бомб заполнял все пространства, не оставляя места воплю. Вой не прерывался, он

вытягивал из меня все чувства, ни о чем нельзя было думать. Ужас поглотил меня целиком. Гром разрыва звучал облегчающе. Я вжимался в землю, чтобы осколки просвистели выше. Усвоил это страхом. Когда просвистит — есть секундная передышка. Чтобы оттереть липкий пот, особый, мерзкий, вонючий пот страха, чтобы голову приподнять к небу. Но оттуда, из солнечной безмятежной голубизны, нарождался новый, еще низкий, вибрирующий вой. На этот раз черный крест самолета падал точно на мой куст. Я пытался сжаться, хоть как-то сократить огромность своего тела. Я чувствовал, как заметна моя фигура на траве, как торчат мои ноги в обмотках, бугор шинельной скатки на спине. Комья земли сыпались на голову. Новый заход. Звук пикирующего самолета расплющивал меня. Последний миг моей жизни близился с этим воем. Я молился. Я не знал ни одной молитвы. Я никогда не верил в Бога, знал всем своим новеньким высшим образованием, всей астрономией, дивными законами физики, что Бога нет, и тем не менее я молился.

Небо предало меня, никакие дипломы и знания не могли помочь мне. Я остался один на один с этой летящей ко мне со всех сторон смертью. Запекшиеся губы мои шептали: Господи, помилуй! Спаси меня, не дай погибнуть, прошу тебя, чтобы мимо, чтобы не попала, Господи, помилуй! Мне вдруг открылся смысл этих двух слов, издавна известных, — Господи... помилуй!.. В неведомой мне глубине что-то приоткрылось, и оттуда горячо хлынули слова, которых я никогда не знал, не произносил — Господи, защити меня, молю тебя, ради всего святого... От взрыва неподалеку кроваво взметнулось чье-то тело, кусок сочно шмякнулся рядом. Высокая, закопченного кирпича водокачка медленно, бесшумно, как

во сне, накренилась, стала падать на железнодорожный состав. Взметнулся взрыв перед паровозом, и паровоз ответно окутался белым паром. Взрывы коржили пути, взлетали шпалы, опрокидывались вагоны, окна станции ало осветились изнутри, но все это происходило где-то далеко, я старался не видеть, не смотреть туда, я смотрел на зеленые стебли, где между травинками полз рыжий муравей, толстая бледная гусеница свешивалась с ветки. В траве шла обыкновенная летняя жизнь, медленная, прекрасная, разумная. Бог не мог находиться в небе, заполненном ненавистью и смертью. Бог был здесь, среди цветов, личинок, букашек...

Самолеты заходили вновь и вновь, не было конца этой адской карусели. Она хотела уничтожить весь мир. Неужели я должен был погибнуть не в бою, а вот так, ничтожно, ничего не сделав, ни разу не выстрелив? У меня была граната, но не бросишь же ее в пикирующий на меня самолет. Я был раздавлен страхом. Сколько во мне было этого страха! Бомбежка извлекала все новые и новые волны страха, подлого, постыдного, всесильного, я не мог унять его.

Проходили минуты, меня не убивали, меня превращали в дрожащую слизь, я был уже не человек, я стал ничтожной, наполненной ужасом тварью.

...Тишина возвращалась медленно. Трещало, шипело пламя пожара. Стонали раненые. Обрушилась водокачка. Пахло паленым, дымы и пыль оседали в безветренном воздухе. Неповрежденное небо сияло той же безучастной красотой. Защебетали птицы. Природа возвращалась к своим делам. Ей неведом был страх. Я же долго не мог прийти в себя. Я был опустошен, противен себе, никогда не подозревал, что я такой трус.

Бомбежка эта сделала свое дело, разом превратив меня в солдата. Да и всех остальных. Пережитый ужас что-то перестроил в организме. Следующие бомбежки воспринимались иначе. Я вдруг обнаружил, что они малоэффективны. Действовали они прежде всего на психику, на самом-то деле попасть в солдата не так-то просто. Я поверил в свою неуязвимость. То есть в то, что я могу быть неуязвим. Это особое солдатское чувство, которое позволяет спокойно выискивать укрытие, определять по звуку летящей мины или снаряда место разрыва, это не обреченное ожидание гибели, а сражение.

Мы преодолевали страх тем, что сопротивлялись, стреляли, становились опасными для противника.

В первые месяцы войны немецкие солдаты в своих касках, зеленых шинелях, со своими автоматами, танками, господством в небе внушали страх. Они казались неодолимыми. Отступление во многом объяснялось этим чувством. У них было превосходство оружия, но еще и ореол воина-профессионала. Мы же, ополченцы, выглядели жалко: синие кавалерийские галифе, вместо сапог — ботинки и обмотки. Шинель не по росту, на голове пилотка...

Прошло три недели, месяц, и все стало меняться. Мы увидели, что наши снаряды и пули тоже разят противника и что немцы раненые так же кричат, умирают. Наконец мы увидели, как немцы отступают. Были такие первые частные, небольшие бои, когда они бежали. Это было открытие. От пленных мы узнали, что, оказывается, мы, ополченцы, в своих нелепых галифе, тоже внушали страх. Стойкость ополченцев, их ярость остановила стремительное наступление на Лужском рубеже. Немецкие части тут застряли. Подавленность от первых ошеломляющих ударов прошла. Мы перестали бояться.

Во время блокады военное мастерство сравнялось. Наши солдаты, голодные, плохо обеспеченные снарядами, удерживали позиции в течение всех 900 дней против сытого, хорошо вооруженного врага уже в силу превосходства духа.

Я пользуюсь своим личным опытом, думается, что примерно тот же процесс изживания страха происходил повсеместно на других наших фронтах. Страх на войне присутствует всегда. Он сопровождает и бывалых солдат, они знают, чего следует опасаться, как вести себя, знают, что страх отнимает силы.

Надо различать страх личный и страх коллективный. Последний приводил к панике. Таков был, например, страх окружения. Он возникал спонтанно. Треск немецких автоматов в тылу, крик «Окружили!» — и могло начаться бегство. Бежали в тыл, мчались, не разбирая дороги, лишь бы выбраться из окружения. Невозможно было удержаться и невозможно было удержать бегущих. Массовый страх парализует мысль. Во время боя, когда нервы так напряжены, одного крика, одного труса хватало, чтобы вызывать всеобщую панику.

Страх окружения появился в первые месяцы войны. Впоследствии мы научились выходить из окружения, пробиваться, окружение переставало устрашать.

Страху противопоказан, как ни странно, смех. В страхе не смеются. А если смеются, то страх проходит, он не выносит смеха, смех убивает его, отвергает, сводит на нет, во всяком случае изгоняет хоть на какое-то время. По этому поводу хочется привести одну историю, которую я слышал от замечательного писателя Михаила Зощенко.

Незадолго до его смерти в Доме писателя устроили его вечер. Зощенко был в опале, его не издавали, выступления его были запрещены. Вечер его устраивали тайком. Под видом его творческого отчета. Приглашали по ограниченному списку. Зощенко радовался, последнее время он находился в изоляции, нигде не бывал, никуда его не приглашали — боялись.

Вечер получился трогательно праздничным. Зощенко рассказывал, над чем он работает. Он задумал цикл рассказов «Сто самых удивительных историй моей жизни», некоторые из них он нам пересказал. Он не читал. Рукописи у него не было. Видимо, он их еще не записал. Одна из этих историй имеет непосредственное отношение к нашей теме. Попробую ее передать по памяти, к сожалению, своими словами, а не тем чудесным языком, каким владел только Михаил Зощенко.

Случилось это на войне, на Ленинградском фронте. Группа наших разведчиков передвигалась по лесной дороге. Была глубокая осень. Листья шуршали под ногами, и звук этот мешал прислушиваться. Они шли, держа наизготовку автоматы, шли уже долго и, возможно, расслабились. Дорога резко сворачивала, и на этом повороте они лицом к лицу столкнулись с немцами. Такой же небольшой разведгруппой. Растерялись и те и другие. Без команды немцы скакнули в кювет по одну сторону дороги, наши — тоже в кювет, по другую сторону. А один немецкий солдатик запутался и скатился в кювет вместе с советскими солдатами. Он не сразу понял ошибку. Но когда увидел рядом с собой солдат в пилотках со звездочками, заметался, закричал от ужаса, выпрыгнул из кювета и одним гигантским прыжком, взме-

тая палые листья, перемахнул через всю дорогу к своим. Ужас придал ему силы, вполне возможно, он совершил рекордный прыжок.

При виде этого наши солдаты засмеялись и немецкие тоже. Они сидели друг против друга в кюветах, выставив автоматы, и от души хохотали над этим бедным молоденьким солдатом.

После этого стрелять стало невозможно. Смех соединил всех общечеловеческим чувством. Немцы смущенно поползли по кювету в одну сторону, наши — в другую. Разошлись, не обменявшись ни одним выстрелом.

ЛЕТНИЙ САД

Перед разлукой мы все трое встретились позади Петровского дворца, за спиной одной мраморной богини с ее древнеримской задницей. Там было наше излюбленное местечко. Там мы назначали свидания своим девицам. Там была тенистая прохлада, солнечные пятна лениво шевелились на стриженной траве Летнего сада.

Бен попал в зенитную часть, Вадим — в береговую артиллерию. Они хвалились своими пушками, оба имели лейтенантское звание, полученное в университетские годы, красные кубари блестели в петличках новеньких гимнастеров. Офицерская форма преобразила их. Особенно хорош был Вадим: лихо сдвинутая фуражка, фуранька, как называл он, его тонкая талия, перетянутая ремнем со звездной пряжкой. Весь начищенный, блестящий. Бен выглядел мешковатым, штатское еще не сошло с него, штатской была его печаль, никак он не мог одолеть печаль от предстоящей нашей разлуки.

Я не шел ни в какое сравнение с ними: гимнастерка — б/у, х/б (бывшая в употреблении, хлопчатобумажная), на ногах — стоптанные кем-то ботинки, обмотки и в завершение — синие диагональные галифе кавалерийского образца. Так нарядили нас, ополченцев. Спустя много лет я нашел старинную, потемневшую фотографию того дня. Замечательный фотохудожник Валера Плотников сумел компьютером и заклинаниями вытащить нас троих из тьмы последнего нашего свидания на свет божий, и я увидел себя в том облачении. Ну и вид, и в таком, оказывается, наряде я отправился на фронт. Не помню, чтобы они смеялись надо мною, скорее они возмущались: неужели меня, как звал Вадим, вольноопределяющегося, не могли обмундировать как следует!

Они сердито цитировали призыв, тогда он звучал на всех митингах: «Грудью встать на защиту Ленинграда!» Грудью, выходит, ничего другого у нас нет? Грудью на автоматы, танки? Идиотское выражение, но, судя по обмоткам, прежде всего — грудью!

Я сказал, что спасибо и за обмотки, я с трудом добился, чтобы с меня сняли бронь и зачислили в ополчение.

То есть рядовым в пехоту? — спросили они, на кой мне ополчение, это же необученная толпа, пушечное мясо. Война — профессиональное дело, доказывал Бен.

Меня растрогала их участливость. Они оба были для меня избранниками Фортуны. В университете на Вадима возлагали большие надежды. Сам академик Фок, один из корифеев теоретической физики, возлагал. Считалось, что Вадим Пушкарёв предназначен для великих открытий. А Бен отличался как

математик, его опекал Лурье, тоже знаменитость. Доктор наук, а может, и членкор.

Я гордился их дружбой, тем, что допущен, на меня, рядового инженера, никто не возлагал... В их компании я всегда выглядел чушкой, они, по сравнению со мной, — аристократы. Во мне плебейство неистребимо. Но они меня тоже за что-то любили.

Вадим достал из кармана фляжку с водкой, отцовскую, пояснил он, времен Первой империалистической, мы по очереди приложились, сфотографировались. У Бена была маленькая «лейка». Попросили какого-то прохожего. Блестящий зрачок объектива уставился на нас, оттуда вдруг дохнуло холодком, на миг приоткрылась мгла, неведомое будущее, что ожидало каждого. Вадим посерьезнел, а Бен обнял нас, уверяя, что мы должны запросто разгромить противника, как только пройдет «фактор внезапности», мы их сокрушим могучим ударом, поскольку —

...от тайги
до британских морей
Красная армия
всех
сильней!

Мы расстались, уверенные, что ненадолго. Так или иначе мы их раздолбаем.

Очень скоро нас постигло разочарование, оно перешло в отчаяние, отчаяние — в злобу и на немцев, и на своих начальников, и все же подспудно сохранялась уверенность, угрюмая, исступленная.

Мы уходили по главной аллее, древнеримские боги смотрели на нас, для них все это уже когда-то было — война, падение империи, чума, разруха.

В ноябре я получил письмо от Бена с Карельского фронта, он командовал зенитной батареей, только в самых последних строках, видимо никак не решался, было про гибель Вадима под Ораниенбаумом, подробности неизвестны, передавали через университетских однополчан. «Но я не верю», — закончил Бен. К тому времени я уже привык к смертям, но в эту и я не поверил. Всю войну не верил, да и до сих пор не верю.

В ТО ВОСКРЕСЕНЬЕ

Странно и то, что я никогда не задумывался над этой странностью, считал ее забавным совпадением, не более. Любовь моя разгорелась в июне 1941 года, разразилась неким решением к 22 июня, в тот воскресный день, когда мы утречком поехали в Дудергоф, ушли в рощу погулять, выбрать себе укромное местечко. Намерения у меня были, как позже признавался, самые гнусные. В те яростные молодые годы я не пренебрегал никакими возможностями получить от женщины то, что она должна дать. Они сами употребляют эти словечки — «хочу», «дам», «не дам», «кому хочу — тому дам». До сих пор я имел дело с женщинами. Кто, когда лишал их девственности, я не знал, они мне доставались «распечатанными», более или менее опытными. Здесь же было другое. Совсем другое. Я чувствовал, что она девушка. На самом деле меня это больше пугало, чем радовало. В те времена нравственные правила еще не считали предрассудками. Как потом выяснилось, страхи одолевали меня сильнее, чем ее.

День был синий-пресиний, полный цветущей сирени, наступающей жары, пахучий день равноден-

ствия, разгар белых ночей, кипящей крови. Отношения наши зашли далеко и приблизились к решающей черте. Переступить или отказаться? Чего я не собирався, да и она тоже. Она догадывалась о намерениях, я знал, что она догадывается, от этого мы много смеялись над собой. Смеясь, она закидывала голову, взмахивая челочкой темных волос, вскрикивала: «Ой, воды!» Ровные белые зубы ее призывно вспыхивали. Наслаждение смехом заставляло меня изощряться в остроумии. Мне хотелось завоевывать ее еще и еще. Наш роман длился уже месяца три, мне было этого мало. Среди ее кавалеров были солидные дяди. Был какой-то шишка, водил ее в ресторан, кормил паюсной икрой, чем она хвасталась, поддразнивая меня. Был один старший сотрудник центральной лаборатории, разумеется талантливый, красавец. Найдя предлог, я заглянул в лабораторию посмотреть на соперника. Действительно, оказалось — славный мужик, выше меня, кудрявый, с доброй улыбкой. Римма не преувеличивала, врать она не умела начисто, она прямо-таки угнетала своей честностью.

В заводской библиотеке я взял американский журнал по электротехнике, сунул в карман куртки так, чтобы красочная обложка и заголовок торчали. Пусть видит, что я тоже не фуфры-мухры. И в Дудергофе я куражился — перепрыгнул через широкую канаву, поставив рекорд. Откуда-то появляются ловкость и сила, срабатывает древний инстинкт, к человеку возвращается прекрасное природное естество, поют без усталы свои серенады, дятлы отщелкивают-барабанят свои любовные призывы, не щадя головы, не только ради самок, это весна переполняет жизненными силами, самец себя показывает, себя утверждает, возвеличивает.

Счастлирое единство с природой. Мы одной крови, мы тоже готовы петь, кататься по траве, драться.

Глухое зеленое местечко открылось перед нами, специально выстроенное лесным архитектором. Мы легли, и началась игра касания, поцелуи, вновь касания. Ее белые ровные зубы, чистое дыхание казались мне частью налитой соками природы, как будто я целовал этот день, эту молодую прозрачную листву.

Потом я часто спрашивал себя: почему другие губы, другие тела, тоже красивые, молодые, не доставляли такого физического наслаждения?

Липа над нами ловила солнце в свою зеленую сеть, день обещал жару, счастье. Неожиданно раздались голоса, резкие, грубые, им откликнулись другие, слева, справа, быстро приближаясь.

Я встал, увидел головы солдат в пилотках. Они надвигались цепью, останавливались, вкапывали какие-то знаки. К нам подошел младший лейтенант, один кубик в петлицах, сказал:

— Уходите, здесь сейчас нельзя.

— Что такое? — спросил я.

— Война, — коротко бросил он и куда-то побежал.

Более дурацкой причины, чтобы нас выставить, никто бы не придумал. Да и день не верил этому, он продолжался, распевая птичьим гомоном.

Мы шли, бежали, хохоча, держась за руки, и Римма была еще соблазнительней.

Возвращались под вечер. Поезд был переполнен. Мы стояли в тамбуре, прижатые друг к другу, радуясь этому. Кругом говорили про войну, бомбардировки. Война с кем — с немцами? Я удивлялся, не верил, но уже понимал, что это правда. Что означает эта правда, я не представлял, но порывы общей тревоги наконец настигли нас.

Неизвестно, как бы развивался наш роман, возможно, он быстро истощился бы, как бывало у меня, молодость жаждала новых и новых влюбленностей.

С вокзала я поехал на завод. Надо было убедить-ся, осознать невероятность того, о чем говорили.

На заводе уже записывались в ополчение. К дверям парткома и комитета комсомола стояли очереди. Я тоже решил записаться: как же, война — и без меня.

Трудно понять, чего тут было больше — тщеславия, патриотизма, авантюренности. Войну-то я воспринимал не всерьез. Представился счастливый случай прогуляться по Германии, проучить фашистов.

Авантюренность моя проявлялась неожиданно, в причудливых формах. Как-то раз, узнав о приезде в Ленинград Юрия Олеша, я отправился к нему в гостиницу «Европейская». Зачем, для чего — я только что прочел его роман «Зависть», восхитился и решил высказать ему свое мнение. Уговорил своего приятеля Костю, и вот два студентика стучатся в номер Юрия Карловича. Ни цветов, ни торта в подарок, даже о предлоге приличном не позаботились. Олеша сидел с женой, пили чай. А может быть — вино, я не разобрался. С порога объявил о нашем читательском восторге. Небольшую речь я сочинил на лестнице. Юрий Олеша молча выслушал, ждал, что будет дальше, наверное, ему было интересно, как мы выпутаемся из паузы. Сделала это жена его, которая крикнула, чтобы он пригласил «мальчиков».

Дальнейшее не запомнилось: хозяин что-то рассказывал про фильм, который должен сниматься по его сценарию, без интереса спросил, где мы учимся. Ничего не произнес, что бы потом я мог цитировать. Можно считать это посещение бездарным. Но нет, все же Юрий Олеша стал живым человеком, и я пе-

речитывал его книги с нежностью — этот малорослый неловкий человек, а какая ловкость в обращении с фразой и как он умел читать чужие книги.

В ополчение меня не брали, я числился инженером в ОКБ у Ж. Я. Котина, главного конструктора танков. Пожаловался в партком, в дирекцию, в комитет комсомола. Существовало много инстанций для жалоб. Через неделю мне удалось снять «броню». Меня зачислили в Первую дивизию Народного ополчения, «1 ДНО». Я был счастлив. Чем?.. Любовь должна была бы удерживать меня, роман только разгорался, работа над новым танком могла удовлетворить любой патриотический пыл.

На третий месяц войны я перестал понимать свое решение, свою настойчивость, хлопоты.

Правда, если присмотреться повнимательней, то можно увидеть, что в армию ушли почти все мои ребята — Вадим, Бен, Илья, Леня. Ушли, впрочем, по мобилизации. Костя, как и я, имел броню в своем радиоинституте и держался за нее обеими руками.

— Защищать грудью страну я не собираюсь, — говорил он.

— Это же образное выражение, нельзя понимать буквально.

— Винтовку тебе дали? Нет? То-то. Чем же ты будешь воевать?

Ничто не могло остановить меня, я предстал перед Риммой в гимнастерке б/у, синих диагональных галифе, тяжелых ботинках с обмотками, выглядел нелепо, а чувствовал себя гусаром, кавалергардом. Если бы пистолет на пояс, но дали только противогаз и перед отправкой — бутылку с зажигательной смесью.

Главная тайна для меня состояла в том, почему она предпочла меня. Начинаящий инженер, из семьи бедной, отец в Сибири, внешность — так себе, не поет, ни на чем не играет, не спортсмен, спрашивается — в чем секрет? Извечное стремление объяснить загадку любви.

То, что она девушка, было доказательством ее любви, во всяком случае, много значило. Девственность и у мужчин вызывает ни с чем не сравнимое чувство чистоты, во всяком случае, запомнилась та ночь. Мы перешли со скрипучей кровати на пол, в соседней комнате спали моя мать, сестра; проклятая слышимость мешала ликовать, вопить, рычать, не сдерживать себя, предаваться любви, как предаются животные. Но все равно, и сдерживание было приятно, и ночное небо с тревожным рыском прожекторов, и ветер из открытого окна. Начало любви, восходящая ветвь круто поднималась к звездам, в бесконечность, казалось, так будет всегда.

Последние городские недели перед отправкой на фронт, формирование дивизии, тренировки в Шереметьевском парке, карточки на продукты, бомбежки — все шло по касательной, мимо, не препятствуя, подгоняя наши отношения.

Неопытность была во всем — в войне, в любви, продуктовых карточках. Никто не запасался продуктами, никто не думал про эвакуацию. Все же мы не витали в облаках, мы отправились в ЗАГС. Предложил я. Предложил не руку и сердце, а предложил зарегистрироваться. Чисто деловое предложение сделал. Это был сентябрь 1941 года, третий месяц войны, немцы подошли к Пушкину. Я знал, что у этого брака не было будущего и у меня не было, к тому времени я убедился, что Германию одолеть непросто

и пехотинцу в этой войне уцелеть не светит. В тот первый год солдат проживал на переднем крае в среднем четыре дня. Будет у Риммы хоть память о юной ее первой любви к молодому солдатику, иногда вздохнет, вспомнив, и тому подобная сладостная лирика.

Мне приятно было адресовать ей аттестат, грошовая сумма, но все же.

ЗАГС на Чайковского был закрыт, ушли в бомбоубежище. В ЗАГС на Владимирском попал снаряд. Направились на площадь Стачек. Мы готовы были ходить из ЗАГСа в ЗАГС, регистрироваться дважды, трижды, ждать на ступеньках... Наконец мы добились своего, она получила штамп в паспорте, в мою солдатскую книжку штампа не полагалось.

Город был без цветов. На Невском в кафе «Норд» за большие деньги нам подали пирожки с повидлом, кофе и по фужеру вина. Официантка, когда узнала, что мы отмечаем свадьбу, принесла нам по эклеру. Прочую пустоту стола заполнила Римма, ее счастливость, ее глаза, смех. Достаточно было смотреть на нее. Для женщины свадебный акт значит много. Я просто любовался ею, шутил, требовал, чтобы она научилась делать блины и кулебяку.

Никаких планов совместной жизни мы не строили, я возвращался на фронт, она на завод.

День был теплый, летнее голубое платьице, глубокий вырез, маленький золотой медальон лежал на загорелой груди. Еще — шелковая темно-синяя козынька или шарфик. Вдруг я сообразил, что она, кроме отца с матерью, единственная, кто сохранит какую-то память обо мне, через нее я на какое-то время останусь в этом мире. Она будет ждать, о ней можно скучать на передовой.

В ополчении мне полагалась инженерная зарплата. Одну половину я выписал аттестатом на родите-

лей, другую — Римме, ей было приятно, что я узаконил ее.

В ту весну у меня еще продолжался роман с красоткой Зоей, мало того что она имела совершенную фигуру — тоненькая талия, крутые выпуклости, так она беззаветно трудилась над чертежами для моего дипломного проекта. Судя по тому, как она ловко, даже привычно организовала наши встречи у подружки, — она была старше меня на год, на два, выглядела же девчужкой. Она с удовольствием приспосабливалась ко мне, ходила со мной на выставки, ездила на Острова, забавляла меня своими рассказами об их конструкторском бюро, рассказчицей была талантливой, с ней было весело, легко, увлекалась она фотографией, без конца снимала меня, себя, нас обоих, это, как она говорила, заменяет ей дневник.

Я удивлялся тому, как с Риммой начисто позабыл о ней.

Новость о моей женитьбе дома приняли прохладно. Мать считала, что ее сын заслуживает куда большего. Трудно сказать, что она имела в виду, может, художницу, может, актрису, дочь ученого, генерала. Ни профессия, ни происхождение — отец Риммин — совслужащий, мать — учительница музыки, воронежские провинциалы — это ее не устраивало. И сама Римма — кто она — инженер-плановик из МХ-3. Особенно ее раздражало это «три», третий механический. Внешность самая заурядная, обкрутила, вцепилась: такой парень, конечно, для провинциалки завидная партия...

22 июня 1941 года, через несколько часов после начала Великой Отечественной войны, Черчилль выступил по радио и заявил, что Англия будет бороться

с гитлеровской Германией до конца. Он не упрекал Советский Союз за союз с Гитлером в ходе Второй мировой войны. Он сказал: «Если мы будем пытаться поссорить прошлое и настоящее, мы проиграем будущее». Точное это изречение определило всю военную политику Англии. Хотя с июня 1941 по осень 1942 года русский фронт, как он выразился, показался ему «обузой, а не подспорьем».

БЕЗОШИБОЧНАЯ НАША ЖИЗНЬ

На экзамене в школе учительница спросила меня — почему Лев Николаевич Толстой в своей эпопее «Война и мир» описывает не нашу победу, как русские войска входят в Париж, разгром Наполеона? Нет, у него, по сути, история нашего поражения, французы в Москве, пожар Москвы, Наполеон в Кремле.

Действительно — почему? Я помню, как меня озадачила эта несообразность. Казалось бы, чего ради отказываться от ликующего финала, да и всей истории бегства непобедимого французского императора, наступления русских войск.

Я не мог ответить, мялся, мычал что-то невразумительное, роман был толстенный, читал я его кое-как, может, чего-то упустил, но вхождения в Париж точно не было.

После школы время от времени я возвращался к этой загадке великого романа.

Конечно, ручаться не могу, думается, однако, что в первоначальный период войны, когда вторжение французов шло неудержимо, Россия терпела позор поражений, отступлений. Был упадок воли, разочарование, беспомощность начальства, но стали от-

крываться сокровища духа народного. Даже когда Москва сгорела, духом не пали. Наверное, эта стойкость, эти резервы сознания и любви к родине привлекли Толстого. Победа, она мало что открыла бы, она следствие тех испытаний, какие русская армия выдержала, не капитулировала.

На Римму его пример не произвел впечатления. Та давняя война ничего не доказывает. Монархи воевали по-своему, то была одна Россия, а эта Россия другая. И противник другой. Французы — это нормальные люди, Наполеон не Гитлер.

На днях у них был в цеху разговор о том, что же на фронте творится, как быстро раздолбали Красную армию. Начальник цеха взялся всех успокаивать. Откуда нам знать, говорил он, может, это спецоперация, решили заманить немцев вглубь страны и там окружить и уничтожить. Продуманный план. В Кремле сидят не тюхи-матюхи, соображают, что к чему, не дурнее нас. Не может того быть, чтобы они просчитались. Просто эта задумка пока что не раскрыта. Посмеивался начальник над нашей глупостью. У него всегда хиханьки, то ли успокаивает, то ли сам верит.

Нас ведь как воспитали — ошибок там, наверху, не бывает. И не может быть. Потому что никогда за все годы не было. Безошибочная жизнь шла. На это Римма ему вкатила — что обычно люди учатся на ошибках, если ошибок нет, то и остаются неучами. Начальник тут посерьезнел, кто это неучи, кого она имеет в виду? Вцепился, как клещ. Она не умела себя сдерживать. Ей доставляло удовольствие правду-матку выдать. «За ней не заржавеет», — определила моя мать. Мне это нравилось. Пока она не взялась за меня. Выяснилось: есть возможность вер-

нуться на завод. Эвакуироваться с ним в Челябинск, завод имеет право отозвать несколько своих инженеров из армии.

Выражение «есть возможность» меня оцарапало. Будто я ждал, как бы вырваться из армии. Может, она так считала, но говорить так не надо было.

С какой стати мне возвращаться на завод, так трудно было отпроситься, и нате, явился, испугался, думал в солдатики поиграть, а как пришлось настоящей войны хлебнуть, так хвост поджал и бегом назад.

С этого началась наша схватка. Она настаивала — что меня останавливает? Сейчас танки — решающее оружие. На заводе он больше сделает, чем на фронте. Подумаешь, сержант! Такого добра хватает. Дослужился. На этой войне ему не добраться до офицера. Она насмотрелась на траурные списки ополченцев, каждый день вывешивают в цехах.

Его война была для нее сплошным бегством. Что он, не набегался? На такой войне героем становятся посмертно. Она не щадила его самолюбия. За что? Ополченцы дрались, несмотря ни на что, они заслуживают восхищения, она же видела не подвиг, а позор. Оказывается, все, что он испытал, можно выставить позорищем. Может, она нарочно обижала его, хотела понять, почему он отказывается. Допустим, он останется в армии, допустим, уцелеет, и во что превратится его инженерство? Поднабраться он не успел, останется дипломированным неучем.

Логика ее была беспощадна.

Пошел дождь. Тротуар сразу заблестел лужами. Они зашли укрыться в кафе, там не было мест, зашли в переговорный пункт, присели среди ждущих вызова. Сидели, тесно прижатые друг к другу. Ему

было приятно чувствовать ее бедро, и это мешало спорить с ней, а ей не мешало.

— Ты не слушаешь меня, — возмутилась она. — Я что, тебе предлагаю стать дезертиром? По-твоему, у нас на заводе все укрываются от армии?

Единственная ее угроза, от которой стиснуло ему сердце: «разлука погубит наши неокрепшие отношения».

Когда он еще вернется, с кем он ее уже застанет?

Так получилось, что у него не нашлось оправданий. «Мы никогда не расстанемся», — когда-то заверял он. «С тобой куда угодно!» — тоже его слова. Она напомнила их, и он вспомнил ту вечеринку у Вадима, они танцевали, и он шептал, шептал без конца, захлеб от счастья. Это была клятва, он верил, что так и будет, всегда, ничто не сможет их разлучить. Но ведь то было в другую эпоху, на другой планете. Неужели она не понимает, как далеко зашла война? Судьба Ленинграда, судьба страны — все затрепало, все рушится. В конце концов, разве они не патриоты, не граждане? Кто мы — дезертиры, что ли?

— Я тебе скажу, кто мы, если ты забыл, — мы муж и жена. — Она посмотрела на него с вызовом.

Он принял вызов:

— Как можно в такой тяжелый час так рассуждать! Эгоистка.

ЖАРА

В огромном синем небе не было ни одного нашего самолета, с земли не били зенитки, ни одного выстрела. Сверху, кроме бомб, шарил еще треск пулеметов, пули взвизгивали о металл, дырявили землю, я молился, обещал Боженьке верить в него, всегда

и везде, ничего другого я не имел и протягивал ему свой жалкий дар.

Не стоит осуждать меня, я ничего постыдного не совершил, но в моей жизни эти минуты запомнились презрением к себе, я старался не вспоминать о них, поэтому они и не покидали меня. Тогда, на станции Батецкой, вся моя двадцатилетняя жизнь стала вдруг небывшей, от нее осталось лишь то, что не состоялось, неосуществленность.

А я думал, что воевать будет легко. В Летнем саду мы говорили о ранениях, о смерти, кто-то из нас погибнет, но это произойдет в бою, в атаке, с подвигом. Мне же досталась война бесчестная, ничего не успел, а меня уже превратили в ничтожество, ничего не осталось, никаких иллюзий, мечтаний, планов, все сгорело. И мое самомнение... Передо мной всегда будет смрад моей трусости. Война воняет мочой.

— Вста-а-ать!..

Меня пнули сапогом. Сделав усилие, я отжался, вскочил. Передо мной стояли командир роты Авдеев и Подрезов из штаба дивизии.

Губы мои дрожали, по грязному лицу текли слезы.

— Ну что? Живем? — сказал Подрезов.

И оттого, что он сказал это дружески, участливо, я зарыдал так, что не мог остановиться, как в детстве: я весь сотрясаясь, зажимал себе рот рукавом, давился и рыдал.

— Молчать! — крикнул ротный и со всего размаха влепил мне затрещину.

— Товарищ командир! — Подрезов покачал головой.

— Что с ними делать? Что? — закричал Авдеев. — Возись, твою мать! Дерьмо и сопли! На что мне такие? — Он закрыл глаза, задышал глубоко.

Подрезов, высокий, костлявый, приобнял меня, заговорил глухим мерным голосом:

— Война есть война. Со всеми это бывает. Думаешь, я не напугался, тоже ведь впервые.

Обыкновенные слова, запах свежей гимнастерки и свежей кожаной портупей успокаивали.

— Вы на ротного не обижайтесь. У него четверых убило. Ему роту собирать надо.

Небо, украшенное пухом облаков, очнулось, совершенно неповрежденное небо. Еще трещало горящее здание вокзала, сараи, но летний полдень возвращался к своим делам. Каждый раз в моей солдатской жизни неповрежденность мира будет поражать, привыкнуть к этой безучастности природы невозможно. Она притворяется, будто ничего не случилось, как женщина — губы от поцелуев не убывают, они только обновляются. Так и этот день — он обновился, и в синем солнечном сиянии невыносимо истошно кричал раненый, повторяя одно и то же:

— Ой, возьмите меня! Возьмите меня!

Я схватил Подрезова за рукав, шел за ним, не отпуская.

— Я не трус, вот увидите. — Я тронул свою щеку, пылающую от удара Авдеева. Первое, что я получил на войне... Где наши самолеты? Хоть бы один! Шинельная скатка, вещмешок, ремень брезентовый — все перекрутилось, рубаха вылезла, счастье, что я себя не видел, никогда бы не мог забыть это жалкое зрелище. И как я тащился за Подрезовым, лепеча свои оправдания.

Дойдя до машины, Подрезов остановился, его сразу окружили озлобленные, растерянные, ничуть не лучше меня, они требовали ответа — откуда немец знал о прибытии эшелона, ведь знал, знал минута в минуту!

— Следили, может, по воздуху, — сказал Подрезов.

— Предатели — вот откуда! Ясное дело. Шпионы... Сколько перестреляли, все мало.

Никто не сомневался: враги народа, измена — понятия известные, ярость повернулась и на органы — говнюки, каратели, сажали, казнили, а что толку? Не тех стреляли.

— Дмитрий Андреевич, так нас задарма переколотят! — По имени-отчеству было привычнее.

На заводе все знали его историю: как посадили в тридцать седьмом, как хлопотали за него, председателя завкома, настойчиво, не считаясь с запретами, и добились — его освободили из лагеря, определили на прежнюю должность. В ополчение он вырвался силой, то ли желая доказать (кому? что? — в те дни это понимали), то ли полагая, что в ополчении он нужнее, дивизии-то фактически еще не было, был порыв, гнев, желание проучить немца.

Ему они могли выкрикивать, что сажали не тех, что не готовились, хвалились, грозились, а на деле все — брехня!

Отмолчав, Подрезов спросил:

— Будем шпионов искать или будем воевать?

Предательства не отрицал — да, ввали, да, обманывали.

— Ничего, разберемся. Сейчас надо не самолетов наших ждать, не танков, надо драться тем, что есть, — кулаками, зубами, выхода нет. Одолеем, если не оробеем.

Он медленно прошелся взглядом по лицам.

— Другие предложения есть?.. Нет. Вот то-то и оно.

Сел в машину и уехал.

СОДЕРЖАНИЕ

МОЙ ЛЕЙТЕНАНТ. <i>Роман</i>	5
Простить и помнить. <i>Речь, произнесенная в Рейхстаге 27 января 2014 года</i>	278